

Александр Степанович Грин

# Пролив бурь



Александр Грин

**Пролив бурь**

«Public Domain»

1910

## **Грин А. С.**

Пролив бурь / А. С. Грин — «Public Domain», 1910

Все, что представляет себе романтичный читатель при имени «Грин», есть в этой ранней новелле: хмельная морская романтика, загадочная девушка в странном доме, психологические поединки сердец... «Ночь мчалась галопом; вечер стремительно убегал; его разноцветный плащ, порванный на бегу, сквозил позади скал красными, обшитыми голубым, клочьями...» © FantLab.ru

© Грин А. С., 1910

© Public Domain, 1910

## Содержание

I	5
II	7
III	12
IV	15
V	17
VI	19
VII	23
VIII	25
IX	27

# Грин Александр

## Пролив бурь

### I

В полдень, как и всегда, Матиссен Пэд удалился на песчаные холмы мыса. Из-за волосатой пазухи Пэда торчали лоснящиеся горла бутылок и при каждом шаге кривых ног тоскливо брякали друг о друга, словно им предстояло вылиться не в стальной желудок виртуоза, а в презренные внутренности грудного младенца.

С Пэдом происходило то, что происходит со многими неумеренными людьми, если их телесное сложение и отсутствие нервов хотя отдаленно напоминают племенного быка: он впился. Самые страшные напитки, способные уложить на месте, не хуже пистолетного выстрела, любого гвардейца, производили на его проспиртованный организм такое же впечатление, как легкий зефир на статую. Пока шхуна шаталась в архипелаге, он был воистину несчастнейшим из людей этот старый морской грабитель, видевший смерть столько раз, сколько в гранате семечек.

Изобретательный от природы, он с честью вышел из затруднительного положения, как только «Фитиль на порохе» бросил якорь у берегов пролива. Каждый полдень, сидя на раскаленном песке дюн, подогреваемый изнутри крепчайшим, как стальной трос, ромом, а снаружи – песком и солнцем, кипятившим мозг наподобие боба в масле нагретыми спиртными парами, Пэд приходил в неистовое, возбужденное состояние, близкое к опьянению.

Выдумкой этой гордился он, пожалуй, не меньше, чем именем, данным им самим шхуне. Раньше судно принадлежало частной акционерной компании и называлось «Регина»; Пэд, склонный к ярости даже в словах, перебрал мысленно все страшные имена, однако, обладая пылким воображением, не мог представить ничего более потрясающего, чем «Фитиль на порохе».

Жгучий вар солнца кипятил землю, бледное от жары небо ломило глаза нестерпимым, сухим блеском. Пэд расстегнул куртку, сел на песок и приступил к делу, т. е. опорожнил бутылку, держа ее дном вверх.

Спирт действовал медленно. Первые глотки показались Пэду тепловатой водой, сдобренной выдохшимся перцем, но следующий прием произвел более солидное впечатление; его можно было сравнить с порывом знойного ветра, хлестнувшим снежный сугроб. Однако это продолжалось недолго: до ужаса нормальное состояние привело Пэда в нетерпеливое раздражение. Он помотал головой, вытер вспотевшее лицо и вытащил адскую смесь джина, виски и коньяку, настоящих на имбирных семечках.

Сделав несколько хороших глотков из темной плоской посудины, Пэд почувствовал себя сидящим в котле или в паровой топке. Песок немилосердно жег тело сквозь кожаные штаны, небо роняло на голову горячие плиты, каждый удар их звенел в ушах подобно большому гонгу; невидимые пружины начали развертываться в мозгу, пылавшем от такой выпивки, снопами искр, прыгавших на песке и бирюзе бухты; далекий горизонт моря покачивался, нетрезвый, как Пэд, его судорожные движения казались размахами огромной небесной челюсти.

Почти пьяный, Пэд одобрительно мычал, пытаясь затянуть песню, но ничего, кроме хриплого рева, не выходило из его воспаленной глотки, привычной к мелодиям менее, чем монах к сену. Несмотря на это, он испытывал неверное счастье пьяницы, мечтательное блаженство медведя, извлекающего из расщепленного пня дребезжащую ноту.

Так продолжалось около часа, пока красный туман не подступил к горлу Пэда, напоминая, что пора идти спать. Справившись с головокружением, стариk повернул багровое мохнатое

тое лицо к бухте. У самой воды несколько матросов смолили катер, вился дымок, нежный, как голубая вуаль; грязный борт шхуны пестрел вывешенным для просушки бельем. Между шхуной и берегом тянулась солнечная полоса моря.

Веселый, пошатывающийся, распаренный, как хмель в кадке, Пэд тронулся с места, неуклюже передвигая ногами. В тот же момент лицо его приняло выражение глубочайшего изумления: воздух стал тусклым, серым, небо залилось кровью, и жуткий, немой мрак потопил все.

Пэд тяжело рухнул ничком, сраженный хорошей порцией спирта и солнечного удара.

«Плохие игрушки!» – сказал бы он сам себе, если бы имел время размыслить над этим. В его голове толпились еще некоторое время леса мачт, фантастические узоры, отдельные, мертвые, как он сам, слова, но скоро все кончилось. Пэд сочно хрюпал, и это были последние пары. Матросы, подбежав к капитану, с содроганием увидели негра: лицо Пэда было черно, как чугун, даже шея приняла синевато-черный цвет крови, выступившей под кожей.

– Отчалил! – вскричал длинноволосый Родэк, суетясь около Пэда. – Стань тут, Дженнер, а ты, Сигби, тащи его за ноги. Что, не поднять? Ну, говорил же я, что в нем по крайней мере десять пудов!

– Родэк, – сказал Дженнер, взволнованно почесывая за ухом, – поди принеси две палки и ведро воды. Может, он жив еще. Если же действительно капитан отчалил – мы его донесем на палках до катера.

– Как это не вовремя, – проворчал Сигби. – Назавтра готовились плыть. Я недоволен. Потому что ребята передерутся. И это всегда так, – закончил он, с яростью топнув ногой, – когда в голову лезут дикие фантазии, вместо того, чтобы напиваться по способу, назначенному самим чертом: сидя за столом под крышей, как подобает честному моряку!

## II

— Аян, мальчик, — сказал кок, проходя мимо камбуза, — тебе следовало бы тоже там быть: все разгорячены, и теперь держи ухо востро. Полезно слушать, что говорят ребята, это может относиться ведь и к тебе.

Аян улыбнулся.

— Мое время еще не наступило, — тихо проговорил он, раскачивая руками ванты и следя, как выбленки, вздрагивая от сотрясения, успокаиваются под саллингом. — Я подожду.

— Положим, — сказал кок, хлопая по плечу юношу, — ты не так уж зелен, красивый мошенник, чтобы быть здесь совсем в загоне. Ступай, сокровище палача, в кубрик, там все. Я тоже направляюсь туда по одному делу, которое, откровенно говоря, ставит меня в тупик. Скажи, Ай, видано ли, чтобы от кока требовали знать бухгалтерию? С меня требуют хозяйствственный отчет — вещь неслыханная! Это позор, Аян, для настоящих грабителей и так же мелко, как сухой берег. Когда я путался с Гарлеем Рупором (он отчалил шесть лет назад, простреленный картечью навылет) — не было ничего подобного: каждый, кто хотел, шел в трюм, где, бывало, десятками стояли хорошие фермерские быки, разряжал револьвер в любое животное и брал тот кусок, который ему нравился. Иди, Ай, ведь это же в самом деле будет любопытно!

— Пойдем, — равнодушно сказал Аян, — но ты знаешь, я не люблю шума.

— А ты на них цыкни, — насмешливо возразил повар. — Вот и все.

Была ночь, океан тихо ворочался у бортов, темное от туч небо казалось низким, как потолок погреба. Повар и Аян подошли к люку, светлому от горящих внизу свеч; его полукруглая пасть извергала туман табачного дыма, выкрики и душную теплоту людской массы.

Когда оба спустились, глазам их представилась следующая картина:

На верхних и нижних койках, болтая ногами, покуривая и смеясь, сидела команда «Фитиля» — тридцать шесть хищных морских птиц. Согласно торжественности момента, многие сменили брезентовые бушлаки на шелковые щегольские блузы. Кой-кто побрился, некоторые, в знак траура, обмотали левую руку у кисти черной материей. В углу, у бочки с водой, на чистом столе громоздилось пока еще нетронутое угощение: масса булок, окорока, белые сухари и небольшой мешочек с изюмом.

Посредине кубрика, на длинном обеденном столе, покрытом ковром, лежал капитан Пэд. Упорно не закрывавшиеся глаза его были обращены к потолку, словно там, в просмоленных пазах, скрывалось объяснение столь неожиданной смерти. Лицо стало еще чернее, распухло, лишилось всякого выражения. Труп был одет в парадный морской мундир, с галунами и блестящими пуговицами; прямая американская сабля, добытая с китоловного судна, лежала между ног Пэда. Вспухшие кисти рук скрещивались на высокой груди.

Но смерть, столько раз хлопавшая по плечу всех присутствовавших, производила и теперь слабое впечатление: держались развязно, спорили, бились о заклад — пропахнет ли Пэд к утру или удержится. Смешанное настроение кабака, кладбища и подозрительного общества отзывалось в сердце Аяна неожиданным возбуждением: предчувствие важных событий наполнило его молодые глаза беспокойным блеском зрачков рыси, вышедшей на охоту. Он стал в углу, улыбаясь своей странной улыбкой, похожей на неопределенный жест человека, колеблющегося между приветствием и угрозой.

Едва Аян занял свое место, как на койку взгромоздился Редок, правая рука Пэда; теперь просто рука, потому что туловище отчалило. Квадратное, надменное лицо Реджа без устали скользило глазами по лицам присутствующих. Наступила относительная тишина.

— Ребята! — сказал Редж. — Случилось то, что случилось. Вот, — он протянул руку к голове трупа, — вы видите. Пэд страшно пил, как вам всем известно и без меня, но кто посмел бы его упрекнуть в этом?

— Хорошо сказано, — подхватил сосредоточенный бас Дженнера. — Валяйте, лейтенант, дальше, и да поможет вам небо благополучно бросить оба якоря в гавани.

— Всякому будет свое время упражняться в красноречии, — перебил Редж, с неудовольствием взглянув на матроса. — Ребята! Что толковать — мы не какое-нибудь военное судно, где выдают чарку виски в полдень и перед ужином. Меня разбирает смех, когда я об этом думаю. Да, Пэд твердо помнил свою позицию, и память погубила его. Сколько у меня в бороде волос, столько раз брал я его за рукав, когда он, нагрузив пазуху и карманы, шел на этот роковой холм. Он ругался. Он страшно ругался и твердил, что должен напиться хоть раз в день. Исправить этот несчастный случай — то же, что подковать на бегу лошадь. Мы здесь бессильны, и, если бы могли плакать, труп Пэда плавал бы теперь в наших слезах, как тростинка в большой реке. Благодаря тебе, Пэд, — повысив голос, обратился Редж к трупу, — из шершавых волчат выросли настоящие волки. Аминь.

Он смолк и трагически поднял брови, стараясь уловить, какое впечатление произвела его речь. Раздались сдержаные рукоплескания.

— Теперь, — сказал Редж, — мы, как живые, должны озабочиться насущными, неотложными делами. Нужно привести все в порядок, чтобы тот, кого вы выберете капитаном, — здесь Редж приостановился, но в тот же момент лица всех сделались непроницаемыми, а некоторые даже потупились, — чтобы новый начальник видел все ясно, как на стекле. Сейчас выступит повар Сэт Алль и даст отчет в имеющемся продовольствии. Затем я — в общем приходе и расходе, и, наконец, штурман Гарвей приведет в известность всех относительно оружия, корабельных материалов и остального инвентаря. Потом, не откладывая в долгий ящик, произведем выборы капитана, так как вы знаете, что отсутствие дисциплины на судне пагубнее, чем присутствие женщины. Я кончил.

Загорелый, шишковатый лоб Реджа покрылся испариной. Он перевел дух и отошел в сторону, а на его место стал повар. Манеры Сэта явно показывали глубокое презрение к роли, в которой ему приходилось выступить: он демонстративно покачивался и ежеминутно засовывал в карманы руки, снова извлекая их, когда требовалось сделать какой-нибудь небрежно-шикарный жест.

— Ну, что же, — начал повар, — вы, конечно, меня все хорошо знаете. К чему эта глупая комедия? Будем объясняться начистоту. Я обокрал вас, джентльмены, — в течение этих трех лет я нажил огромное состояние на пустых ящиках из-под риса и вываренных костях. Я еще и теперь продаю их акулам, из тех, что победнее, — три пенни за штуку — будь я Иродом, если не так. Только вот беда: денег не платят.

Яростный взрыв хохота сопровождал эту незамысловатую шутку. Сэт вытер усы, лукаво подмигивая натянутой физиономии Реджа, и стал внезапно серьезен, только в самой глубине его вертлявых зрачков вспыхивали насмешливые огоньки.

— Я все записал, — сказал он, доставая засаленную бумажку. — Вот слушайте: осталось у нас: галет 1-го и 2-го сорта сорок мешков, муки — шесть больших бочек, каждая, вероятно, в полтонны; соленой свинины — две бочки, кроме того, имеются два почти издохших быка... Относительно быков: пасти мне, что ли, их здесь? Я завтра пристрелю обоих. Ты что обеспокоился, Сигби? Не протухнут, есть ледники и селитра. Что же еще есть у нас? Да — кофе, пресованные овощи...

И он тщательно, упираясь пальцем в бумажку, перечислил всю наличность провизии. Выходило, что в этой, спрятанной от чужих глаз бухте можно просидеть с месяц, не беспокоясь о том, что есть.

Сэт ретировался под дружный гул одобрений. Наступила очередь штурмана. Этот даже не потрудился встать с койки, где между ним и боцманом стояла бутылка в обществе оловянных стаканов. Аян видел из своего угла, как острое, серьезное лицо штурмана высунулось из-

за пиллерса, быстро швыряя в толпу увесистые, короткие фразы, прерываемые характерным звуком жующих челюстей.

– Все благополучно, – сказал Гарвей. – Судно в исправности, не мешало бы почистить обшивку форштевня под ватерлинией: там наросло ракушек и всякой дряни. Старая течь, наконец, открыта: вода сочилась под килем, у третьего тимберса от кормы, слева. Поставили заплату. Все материалы налицо, от железных скобок до запасного кливера. Пороху хватит до следующих дождей; при желании бомбардировать луну хватило бы, по крайнем мере, на месяц, и это при беспрерывной канонаде. Арсенал состоит из сорока двух запасных собак, пятидесяти шестизарядных; Когана – двадцать, Мортимера – шесть, Смита и Вессона семнадцать, Скотт – девять. Два орудия – блестящие, нежненькие, без одной царапины. Снаряды: картечи – два ящика, гранат – три, кроме того, две дюжины стальных ядер, с обшивками Леверсона. Двадцать американских топоров, два гарпиона, одиннадцать сабель, восемьдесят каталонских ножей. Винтовки: одиннадцать Кентуккийских, пять Бердана, десять Новотни, Штуцера: тридцать четыре – Пристлея, один – Джаксона, патроны в полном комплекте.

Гарвей умолк так же неожиданно, как и заговорил. Отвернувшись, он продолжал чокаться с боцманом.

Между тем шум усилился, по рукам ходили бутылки, многие стояли, прислонившись спиной к столу, на котором лежал Пэд, и, размахивая локтями, толкали покойника. Аян подошел к Гарвею.

– Штурман, – сказал он, чуть-чуть нахмурившись, – вы слышите? Голос каждого звучит совсем иначе, чем когда был жив капитан Пэд. Я чувствую тревогу. Что будет?

– Ты много стал понимать, Ай, – произнес штурман. – Молчи, ты моложе всех, не твое дело.

– Я чувствую, – повторил юноша, – что произойдут важные события. Меня никогда не обманывают предчувствия, вы увидите.

– Постой! – крикнул Родэк, приподымаясь, чтобы взглянуть на вышедшего вперед Реджа. – Он хочет сказать что-то!

Аян повернулся. Редж, тоже слегка пьяный, махал рукой, приглашая команду слушать. Образовался кружок, лейтенант встал у трупа, упираясь рукой в край стола. Казалось, что он схватил покойника за руку, ища поддержки.

– Эти три месяца, – почти закричал Редж, – дали нам одиннадцать тысяч наличными и две – за проданный транспорт индиго. Деньги переведены в банк «Приятелю». Есть расписки. Проверкой документов займется тот, кто будет новым начальником. Слушайте, ребята, – с новой силой закричал он, – объявите ваши симпатии! Пусть каждый назовет, кого хочет, здесь все свободны!

Разом наступила глубокая тишина, как будто вдруг опустел кубрик и в нем остался один Редж. Началось немое, но выразительное переглядывание, глаза каждого искали опоры в лицах товарищей. Не многие могли похвастаться тем, что сердца их забились в этот момент сильнее, большинство знало, что их имена останутся непроизнесенными. Кой-где в углах кубрика блеснули кривые улыбки интригов, сдержаный шепот вырос и полз со всех сторон, как первое пробуждение ночного прилива.

Аян молча стоял у койки; его озаренные изнутри глаза отражали общее сдержанное возбуждение, заражавшее желанием неожиданно возвысить голос и произнести неизвестное ему самому слово, целую речь, после которой все стало бы ясно, как на ладони. Между тем, спроси его кто-нибудь в это мгновение: «Ай, кто достойнейший?» – он ответил бы обычной улыбкой, жуткой в своей замкнутости. Наконец боцман сказал:

– Штурман Гарвей, ребята, и никто больше!

При полном молчании матросов штурман пожал плечами, как бы удивляясь столь длинной паузе, но, в общем, остался спокоен. Боцман продолжал:

— Я вам говорю, не кобеньтесь. Гарвей знает все, все видел, все испытал. Он строг, верно, но за порядок при нем я ручаюсь своей кровью. Ну, что же, умерли вы? Берите Гарвея, и кончено! Все будет как следует!

— Гарвей! Гарвей! — закричали некоторые, делая вид, что с ними кричат все остальные. — Он! Он!

Сторонники штурмана тесным кольцом окружили своего кандидата, остальные стали около Реджа. Старики, пыхая трубками и сплевывая, доставали револьверы: опытность говорила в них, старый инстинкт хищников, предусмотрительных даже во сне. Раздались крики:

- Долой барина Гарвея!
- Назовите человека, с которым Гарвей разговаривал не через плечо!
- Выбирайте! За бортом много воды!
- Спросите-ка сперва Пэда!
- Полдюжины огородных чучел против настоящего моряка! Браво, Гарвей!
- Лижите пятки у Реджа!
- Долой Гарвея!
- Плохое вы дело затеяли там, у бочки! Гарвей зажмет вам рты быстрей Пэда.
- Редж! Хотим Реджа! Редж!

Кровь хлынула к бледному лицу Реджа. Он быстро поворачивался во все стороны, судорожно смеясь, когда противная сторона бросала ему ругательства. Рука Аяна бессознательно поползла к поясу, где висел нож, он весь трепетал, погруженный в головокружительную музыку угроз и бешенства.

Шум усилился, на мгновение все смешалось в одно пестрое, стонущее пятно, и снова выделились отдельные голоса:

- Редж!
- Гарвей!
- Редж!
- Гарвей!
- Долой Реджа!
- Долой Гарвея!
- Бросить их в воду! — С боцманом!
- И сундуками!
- И с оловянными кружками!
- Подумаешь, что все мы без головы.

— Джентльмены! — орал Сигби, сам еще не решивший, кого он хочет. Каждый из нас мог бы быть капитаном не хуже патентованных бородачей Ост-Индской компании, потому что — кто, в сущности, здесь матросы? Все более или менее знают море. Я, Дженнер и Жип — подшкiperы, Лауссон — бывший боцман флота, Энери служил лоцманом... у всех в мозгу мозоли от фордевиндов и галсов, а что касается храбрости, то, кажется, убиты все трусы! Ну, чего вам?

— Дженнер! — закричали в углу. — Эй, старина, поставь-ка свою кандидатуру!

Отчаянные ругательства наполнили кубрик. Все столпились вокруг покойника, равнодушного, как никогда более, к взрыву страстей. Многие, держа за спиной револьвер, протискивались в самую гущу; в криках слышался звенящий, металлический тембр, показывавший крайнее возбуждение. Боцман Кристоф держал руку за пазухой, и бронзовое лицо его, под снегом седых волос, растягивалось в бешеную улыбку. Гарвей словно окаменел, стоя во весь рост; глаза его с быстротой кошачьей лапы хватали малейшее угрожающее движение, в каждой руке висело вниз дулом по револьверу; Редж, полусогнувшись, притопывая ногой, ворочал свою толстую шею во всех направлениях; яркие пятна горели на его скулах.

Ни позже, ни раньше, именно в тот самый момент, когда это сделалось необходимым, потому что два-три раза щелкнул курок, Аян бросился к ложу Пэда. Губы его вздрогивали от

волнения; наконец, уловив паузу, он крикнул изо всей силы, словно слушающее находились от него по крайней мере за милю:

– Если бы капитан Пэд встал, он выдрал бы всех за уши!

Голос его покрыл шум, и крики затихли. Гарвей сурово улыбнулся, Редж с недоумением дернул подбородком, оглядываясь; громко захохотал Сигби – еще секунда, другая, и бешенство сломилось, как палка, встретившая топор, потому что слова Аяна звучали непоколебимой уверенностью; момент был великолепен. Боцман сказал:

– Ай, насмеши еще!

Он посмотрел на юношу, но травленый взгляд его поскользнулся на твердых глазах Аяна, как птица на льду. Аян был странен в эту минуту: нижняя часть его правильного лица смеялась, в то время как верхняя сохраняла невозмутимую, серьезную зоркость взрослого, берущегося за дело.

– Повтори-ка, что ты сказал! – крикнул Редж.

– Я предлагаю, – не обращая внимания на смех и шутки пиратов, продолжал Аян, – разойтись сегодня и сойтись завтра. Завтра вы будете хладнокровнее. Никакого толку сегодня не будет, разве что Редж прострелит ногу Гарвею, а Гарвей искалечит Реджа. Пэд, конечно, весьма сконфужен. Завтра, завтра каждый придет к какому-нибудь окончательному решению. И вы же еще пьяны вдобавок!

– Дело! – сказал Сигби, грызя ногти. – Как скоро растут мальчики!

– Да, – продолжал Аян, – нехорошо, если прольется кровь. Лучше вы сделаете, если разойдетесь. И нечего там трогать курки. Ведь все вы мои друзья – по крайней мере, мне кажется, что у меня нет врагов. Я ничего не хочу сказать, кроме того, что сказал.

Полдюжины рук опустились на его плечи прежде, чем он умолк. Это грубое одобрение было почти искренним; между тем шум перешел в гул, Редж подошел к Гарвею, как бы ища темы для разговора; Гарвей отворачивался.

– Аян, – произнес Кристоф, когда все успокоились, – через полгода у тебя вырастут усы, и как ты тогда будешь глядеть?

– Прямо, – сказал Аян. – Море не терпит раздоров, – прибавил он, – а завтра все будет кончено.

– Ай, – сказал Сигби, – ну, ей-богу же, ты простак первой руки. И я тебе говорю: не одна пуля засядет в теле кого-нибудь из нас, пока ты услышишь крик нового капитана: «Готовь крючья!»

### III

К пробитию четырех склянок все выстроились на шканцах. Принесли Пэда; тело его, плотно зашитое в брезент, походило на огромного связанного тюленя. Труп положили на деревянный щит, употребляемый при погрузке, открыли борт и своеобразный морской гроб тихо скользнул по палубе, ногами к воде. Щит, придерживаемый тремя матросами, остановился, покачиваясь; в ногах Пэда, крепко увязанная между ступней, чернела свинцовая балясина. Океан был спокоен; белоголовые морские орлы плавали над водой, держась к берегу и оглашая пустынную тишину земли резкими, удлиненными выкриками. Гарвей подошел к трупу, обнажив голову, и тотчас руки всех поднялись к головам, предоставляя солнцу накаливать затылки и шеи, цвета обожженного кирпича.

Гарвей прочитал молитву, рассеянно смотря вдаль, сбиваясь и перевиная слова. Потом рука его заслонила море, он приглашал слушать.

— Ребята, — сказал он своим обычным сухим голосом, не опуская руки, пока море не расступилось, Пэд здесь. Я говорить не мастер. Мы плавали и дрались вместе. Многие из нас живы только благодаря ему. Пусть идет с миром.

— С миром! — как эхо, отозвалась команда, и самые суровые лица стали мягче, словно им пощекотали в носу. Кто-то кашлянул.

— Мы тебя не забудем, — продолжал Гарвей. — Ты ушел от виселицы, а мы неизвестно. Но мы будем жить, как жили, пока нам не перегрызут горло. Аминь.

Он подал знак, и щит быстро перегнулся к воде. Труп пополз вниз, сорвался и исчез за палубой.

— Бу-бух! — всплескивая, сказала вода.

Все подошли к борту, следя, как вздрагивающие круги тают у судна и в отдалении. Прошло секунд десять — прежняя, невозмутимая гладь окружила «Фитиль на порохе».

Тогда все задвигались, заговорили, а лица приняли свободное выражение. С Пэдом было покончено.

— Ребята, — сказал Гарвей, — не все сделано. Капитан не захотел умереть бродягой — есть завещание. Оно лежало у него под замком в ящике, где сушился табак.

Тогда расцвели самые угрюмые лица: завещание это обещало интересные вещи. Сигби протиснулся ближе всех — он никогда не читал такой штучки, даром что отец его умер на собственной земле. Жизнь разлучает родственников.

В руках Гарвея появился пакет, и трудно сказать, был ли он распечатан в ту же минуту десятками напряженных глаз или пальцами штурмана. Хрустнул грязноватый листок; кроме того, штурман держал еще что-то, зажатое в левой руке и вынутое, по-видимому, из пакета.

Гарвей не поднял на толпу глаз, как делают обыкновенно чтецы, сообщающие что-либо важное. Он читал с некоторым усилием, ибо школьные годы Пэда протекали в завязывании буксирных узлов. Но разобрать все-таки было можно.

«11 июля 18...9 года, — прочел Гарвей, и передние ряды шевельнулись. Я, Матиссен Пэд, могу умереть. Если это случится, то не желаю расставаться ни с кем в ссоре, поэтому завещаю:

1) Мои собственные деньги, девятьсот шестьдесят фунтов золотом, что под левой задней ножкой стола, подняв доску, — всем поровну и без исключения».

Гарвей остановился и сделал рукой резкий, неопределенный жест.

— Гу-у! — пронеслось в толпе. Теперь волновались задние, переднее кольцо стояло тише, чем в момент похорон.

«Второй пункт, — сказал штурман. — Все вещи, за исключением трех ковров, на которых изображена охота с соколами, дарю Гарвею. Ковры отдать Аяну, мальчик любил их рассматривать».

Многие обернулись, отыскивая глазами Аяна, стоявшего позади всех. Он был спокоен.

— Ты будешь на них спать, Ай, — сказал сумрачный Рикс, завидуя штурману, потому что ценность вещей Пэда достигала значительной суммы.

— Тише! — зашипел Редж.

Гарвей продолжал:

«Портрет, который я запечатываю вместе с этой бумагой, прошу кого-нибудь из вас доставить по адресу. В этом моя главная и единственная к вам просьба».

Далее следовало несколько туманных, сбивчивых замечаний, из которых самым ясным было, пожалуй, следующее: «...не мочите, краска не лакирована». Затем что-то зачеркнуто, наконец, следовала подпись, похожая на просыпанные рыболовные удочки.

Любопытство, достигшее нетерпеливого раздражения, выразилось в скрипте подошв. Почти все стояли на носках, вытягивая вперед шеи; Сигби сказал:

— Покажите же, черт возьми! Да он у вас в левой ладони!

Гарвей, не торопясь, спрятал документ. Он сам рассматривал чужое кривым улыбкам изображение женщины. Тень высокомерного удивления лежала между его бровей, сдвинутых, как две угольные барки в маленькой, тесной гавани.

Раздались возгласы:

— Э! Послушайте! Это невежливо!

— Дайте же и нам, наконец!

— Суньте-ка сюда эту бабу без лака!

— Пэд с розовым цветочком в петлице! Хе!..

— Хо-хо!..

Гарвей протянул руки, и в то же мгновение она осталась пуста. Полустертая акварель прыгала из рук в руки; взрослые стали детьми; часть громко смеялась, плотоядно оскаливаясь; в лицах иных появилось натянутое выражение, словно их заставили сделать книксен. Редок презрительно сплюнул; он не переваривал нежностей; многих царапнуло полусмешное, полустыдное впечатление, потому что вокруг всегда пахло только смолой, потом и кровью.

— Взгляни-ка сюда, Ай, — сказал, приосанившись, молодой Пильчер, — это получше твоих ковров.

Аян взял тоненькую костяную пластинку. Сначала он увидел просто лицо, но в следующее мгновение покраснел так густо, что ему сделалось почти тяжело. Быть может, именно в полуустертых тонах рисунка заключалась оригинальная красота маленького изображения, взглянувшего на него настоящими, живыми чертами, полными молодой грации. Он сделал невольное движение, словно кто-то теплой рукой бережно провел по его лицу, и засмеялся своим особенным, протяжным, горловым, и заразительным смехом. Пильчер сказал:

— А? Ну, ей-богу же, у Пэда где-нибудь остался курятник, а он был славный петух.

— Этого не может быть, — твердо сказал Аян. — Нет такой женщины.

— Почему? — ввернул Сигби.

— Я не видел, — коротко пояснил Аян и, помолчав, прибавил: — Я видел их, правда, один раз, но их было чересчур много и нельзя было рассмотреть хорошенъко. Мы проходили тогда мимо пристани с фальшивым голландским паспортом. Они там стояли вечером.

— Оставьте пустяки! — крикнул Редок, довольный, что Гарвей замолчал и он может овладеть общим вниманием. — Кто поедет?

— Я не хочу, — сказал Дженнер после того, как молчание стало общим. Чего ради?

Остальные переминались. Уехать во время междуусобицы, когда вот-вот начнут делить золото Пэда?! Рискнувший на это рисковал также вернуться к пустой бухте или в лучшем случае увидеть на горизонте тыл «Фитиля». Редж продолжал:

— Стыдно, ей-богу! Сутки вперед, сутки назад! Эй, желающие!

Некоторые отошли в сторону. Гарвей вдруг побледнел, и все отшатнулись: в руке его заблестел револьвер.

– Неблагодарная сволочь! – закричал он, забыв, что может потерять в этот момент всех сторонников, тайных и явных. – Клянусь чертом, вы стоите того, чтобы вызывать вас по жребию и первому отказавшемуся размозжить голову. Я спрашиваю первый раз: кто?

Это «кто» лязгнуло в толпе, как лопнувший стальной трос. Прозвучали сдержаные ругательства: никто не ответил вызовом – правота чувствовалась на стороне спрашивающего.

– Второй раз! – закричал взбешенный Гарвей. – Кто?

Сигби согнулся, опасаясь, что Гарвей выстрелит. Редж злорадно хихикнул, судорожно потирая руки.

– Подле... – хотел зареветь Гарвей, но голос его сорвался.

Аян подошел к борту и сдержанно кивнул головой.

– Кто? – по инерции произнес Гарвей сравнительно тихим голосом. – Ай, ты?

– Я.

– Тридцать миль на шлюпке и двести по железной дороге к северу.

– Хорошо.

– Сегодня вечером.

– Да.

– Не надо терять времени.

– Я еду, Гарвей.

## IV

Ночь мчалась галопом; вечер стремительно убегал; его разноцветный плащ, порванный на бегу, сквозил позади скал красными, обшитыми голубым, клочьями. Серебристый хлопок тумана колыхался у берегов, вода темнела, огненное крыло запада роняло ковры теней, земля стала задумчивой; птицы умолкли.

Был штиль, морская волна тяжело всплескивала; весла лишь на мгновение колыхали ее поверхность, ленивую, как сытая кошка. Аян неторопливо удалялся от шхуны. Шлюпка, тяжеловатая на ходу, двигалась замирающими толчками.

Силуэт «Фитиля» почти исчезал в темной полосе берега, часть рей и стеньги чернела на засыпающем небе; внизу громоздился мрак. Светлые водяные чешуйки вспыхивали и гасли. Прошло минут пять в глубоком молчании последняя атака тьмы затопила все. Аян вынул из-под кормы заржавленный железный фонарь, зажег его, сообразил положение и круто повернул влево.

Рыжий свет выпуклых закопченных стекол, колеблясь, озарил воду, весла и часть пространства, но от огня мрак вокруг стал совсем черным, как слепой грот подземной реки. Аян плыл к проливу, взглядывая на звезды. Он не торопился – безветренная тишина моря, по-видимому, обещала спокойствие, – он вел шлюпку, держась к берегу. Через некоторое время маленькая звезда с правой стороны бросила золотую иглу и скрылась, загороженная береговым выступом; это значило, что шлюпка – в проливе.

Аян встал и некоторое время прислушивался, задерживая дыхание. Справа тянуло душной, теплой гнилью болот, ядовитыми испарениями зеленых богатств, скрытых мраком; слабо шуршал песок, встречая сонный прилив. Берег был совсем близко. Аян сел; теперь он проходил устье бухты, заворачивая к северной стороне пролива. Впереди, милях в двух, лежал океан, сзади шел узкий проход, стиснутый клиньями острова и материка. Дно пролива, истерзанное подводными течениями, работой подземных сил и взрывами штормовых волн, колебавших пучину до основания, напоминало шахматную доску, уставленную фигурами в разгаре игры. Лот, брошенный здесь, достигал то двух футов, то значительной глубины; днем в тихую погоду можно было здесь видеть иглы и зубцы рифов; пролив в это время напоминал слегка оскаленный рот. Большое и маленькое судно могло бы пересечь его с таким же успехом, как перепрыгнуть через собор. Единственная доступная веслу и килю вода тянулась у северного крутого берега: ширина этой ленты была бы все же сомнительна для фрегата.

Взяв направление, Аян стал гребти ровно, не утомляясь. Великая пустынная тишина окружала его. Мрак сеял таинственные узоры, серые, седые пятна маячили в его глубине; рыжий свет фонаря бессильно отражал тьму и тяжесть невидимого пространства; нелепые образы толпились в полуосвещенной воде, безграничной и жуткой. Аян боролся с тревогой, однозвучный наплыв дум держал его в томительном напряжении, и сцены последних дней роились в черной стене воздуха, беглые, как обрывки сна. Он смотрел, думал, и вдруг, защемив сердце, открылась темным тайным глазам его безмерная пустота. Он ощутил пространство, невидимые провалы окружили его; спящее лицо океана поднялось к зениту и холодом бездны спутнуло мысль. Он встрепенулсь; протяжный далекий гул рос в тишине, как будто заревел горизонт; глухое волнение охватило мрак, в ушах зазвенел стремительный прилив крови. Все стихло.

Это была, конечно, галлюцинация слуха. Аян встал, сел снова, задыхаясь от беспокойства, и крикнул. Голос его, звонко отраженный водой, убил призраки. Все приняло обычные размеры, мирно поскрипывали уключины, слева тянуло теплым, береговым воздухом. Одно-два мгновения Аян подумал еще о спрутах с зелеными фосфорическими глазами; рыбах, похожих на привидения или кошмарный сон; гигантских нарвах, скатах, отвратительных,

как подушка из скользкого мяса; но это уже была последняя судорога воображения; он положил весла, придинул фонарь и вынул портрет женщины.

Свет ускользал, менял краски, двигал тенями, и чудилось, что лицо неизвестной девушки бегло меняет выражение, улыбаясь Аяну. Он засмеялся; все — шлюпка, весла, фонарь, ружье, спрятанное в корме, — показались ему удивительно приятными, дорогими предметами. Сунув портрет в карман, Аян продолжал еще некоторое время видеть его так же ясно, как и в руках. И как это часто бывает, когда бесчисленные голоса хором встают в душе — сложная острота момента, сильная, необъяснимая радость охватила его. Он вскочил, полный нетерпеливого стремления двигаться, поднял весло и бешено завертел им над головой. «Шу-с-с... шу-с-с... шу-с-с...» — загудел воздух; шлюпка, поплескивая, качалась из стороны в сторону. Аян сел, положил весло, лицо его улыбалось, глаза блестели от возбуждения.

— Почему тихо? — громко сказал он, смеясь самому себе. — Море, кричи!

Береговое эхо тяжело ухнуло и замолкло. Желание стряхнуть тишину, как стряхивают сонливость, овладело Аяном. Он громко сказал, прислушиваясь к своему голосу:

— Я еду, еду! Один!

Шлюпка придинулась к берегу, своды ветвей повисли над головой Аяна. Он ухватился за них, и шум листвьев глухо пробежал над водой. И снова почудилось Аяну, что тишина одолевает его; тогда первые пришедшие на ум возгласы, обычные в корабельной жизни, звонко понеслись над проливом и стихли, как трепет крыльев ночных всполохнутых птиц:

— Эй! Всех наверх! Подтяни фалы, брасопь фок; грот и фок в рифы; все по местам! Готовь крючья!

Он смолк, сел, взял весла и сильно ударил по воде, бледный от тайной, горячей мысли, дерзкой, как поцелуй насильника.

## V

— Я тотчас вернусь, — сказал слуга, заметив, что Аян двинулся вслед за ним. — Подождите.

— Разве это не все равно? — возразил Аян. — Ведь мне нужно ее видеть, а не вам.

Лакей поджал губы. Взгляд его выражал холодное, почтительное презрение.

— Если вы не смеетесь, — сказал он, — а просто рассеянны, то попросите у меня объяснения. Здесь ждут. И если будет выражено желание принять вас тем лучше.

— Я плохо понимаю эти вещи, — улыбнулся Аян. — Идите, если это необходимо, но мне некогда.

Он выдержал еще один выстрел изумления, отлично вышколенных лакейских глаз и сел в углу. Ожидание подавляло его, он трепетал глухой дрожью; любопытство, неясные опасения, тайный, сердитый стыд, рассеянное, острое напряжение бродили в его голове не хуже виноградного сока.

Он был один в светлой пустой комнате. Разноцветный стеклянный купол, пропуская дневной свет, слегка изменял естественную окраску предметов; казалось, что сквозь него сеется тонкая цветная пыль. Мебель из полированного серебристого граба тянулась вдоль стен, обитых светлой материей с изображениями цветов, раскидывающих по голубому фону острые конечные листья. Пол был мозаичный, из черных и розовых арабесок. В большом, настежь распахнутом полукруглом окне сияло небо, курчавая зелень сада обнажала край каменной потрескавшейся стены.

Все это было ново, интересно и вызывало сравнения. Главная роскошь «Фитиля» заключалась в кают-компании, где стояли краденые бронзовые подсвечники и несколько китайских шкатулок, куда время от времени бросали огрызки сигар. Аян нетерпеливо вздохнул, глаза его, прикованные к портьере, выражали мучительное нетерпение. Мысль, что его не примут, показалась чудовищной. Тишина раздражала.

Время шло, никто не показывался; напряжение Аяна достигло той степени, когда простое разрушение тишины, какой-нибудь посторонний звук является облегчением. Он слегка топнул, затем кашлянул. Разные предположения сутились в его голове. Сперва он подумал, что человек, взявшийся доложить о нем, — не здешний и сыграл глупую шутку, отправившись преспокойно домой. Мысль эта привела его в гневное состояние. Далее он решил, что могло произойти какое-нибудь несчастье. Человек со светлыми пуговицами мог, например, упасть, удариться головой, лишиться сознания. Наконец, еще одно, бросившее его в целый вихрь представлений, соображение пронизало Аяна электрическим током и подняло с места; он здесь в ловушке. Светлые пуговицы отправились за полицией; но как они могли знать — кто он такой?

Впрочем, рассуждать было поздно. Аян вынул револьвер, положил палец на спуск и тихими, крадущимися шагами подошел к двери. Лицо его пылало негодованием; возможно, что появление в этот момент лакея было для слуги полным земным расчетом. Раздвинув портьеру, он увидел залу, показавшуюся ему целой площадью; в глубине ее виднелись еще двери; веселый солнечный ливень струился из больших окон, пронизывая светлую пустоту.

Теперь необходимо было как можно скорее исполнить взятое на себя поручение и уйти. Ничто не препятствовало Аяну разыскать барышню, вручить ей тяжеловесный пакет и спастись, в крайнем случае даже через окно. Если дорогу преградят люди, он начнет драться. Аян решительно отбросил портьеру и быстро пошел вперед; шаги его морских сапог гулко раздались в пустоте; взволнованный, он плохо различал подробности; зала и ее обстановка сливалась для него в одно большое, невиданное, пестрое, стеклянное, резное и золотое. Два раза он поскользнулся; это чуть-чуть не возвратило его к старому предположению, что светлые пуговицы разбили себе голову. В следующий момент прямо на него двинулся откуда-то из угла молодой, гибкий человек, с лицом, опаленным ветром, и острыми, расширенными глазами;

костюм его состоял из блузы, кожаных панталон и пестрого пояса. Аян протянул револьвер, то же сделал беззвучно двигающийся человек, и так они стояли два-три момента, пока Аян не разглядел зеркала. Озадаченный и покрасневший, он стал искать глазами дверей, но они скрылись, каждый простенок походил один на другой, в глазах рябило, из золотых рам смотрели застывшие улыбки нарядных женщин. Аян тронулся вдоль стены – щель сверкнула перед его глазами; он протянул руку это была дверь, бесшумно распахнувшаяся под его усилием.

Он двинулся почти бегом – все было пусто, никаких признаков жизни. Аян переходил из комнаты в комнату, бешеная тревога наполняла его мозг смятением и туманом; он не останавливался, только один раз, пораженный странным видом белых и черных костяных палочек, уложенных в ряд на краю огромного отполированного черного ящика, хотел взять их, но они ускользнули от его пальцев, и неожиданный грустный звон пролетел в воздухе. Аян сердито отдернул руку и, вздрогнув, прислушался: звон стих. Он не понимал этого.

Мгновение полной растерянности, недоумения, жуткого одиночества проникло в его душу тупой болью. Он кинулся в маленький коридор, выбежал на стеклянную, пронизанную солнцем галерею, отворил еще одну дверь и остановился, скованный неожиданностью, задыхаясь, с внезапно упавшим сердцем.

## VI

Комната, в которую он так стремительно ворвался, с револьвером в одной руке и тяжеловесным пакетом в другой, отличалась необыкновенной жизнерадостностью. Бело-розовый полосатый штоф покрывал стены, придавая помещению сходство с внутренностью огромного чемодана; стены на солнечной стороне не было, ее заменял от пола до потолка ряд стекол в зеленых шестиугольных рамках, – это походило на разрез пчелиного сота, с той разницей, что вместо меда сочился золотой свет. Комната была полна им, он заливал все. Жирандоли с вьющимися растениями закрывали низ стеклянной стены; спутанные тропические цветы свешивались с потолка, завитки их дрожали, как маленькие невинные щупальца. В углу, над бамбуковой качалкой, раскачивался в тонком кольце хохлатый маленький попугай. Посредине – стол, окруженный пухлыми белоснежными креслами; серебряный кофейный прибор отливал солнцем.

Аян не различал ничего этого – он видел, что в рамке из света и зелени поднялось живое лицо портрета; женщина шагнула к нему, испуганная и бледная. Но в следующий же момент спокойное удивление выразилось в ее чертах: привычка владеть собой. Она стояла прямо, не шевелясь, в упор рассматривая Аяна серыми большими глазами.

– Это вы, – с усилием произнес Аян. – Я вас узнал по портрету. Там был человек, он сказал, что пойдет к вам и скажет вам про меня. Я думаю, что это предатель. Я прошел много комнат, прежде чем нашел вас.

– Спрятайте револьвер, – сказала девушка.

Он посмотрел на свою правую руку, занятую оружием, и сунул Вессон за пояс.

– Я вынул его на всякий случай, – произнес он, – мы не доверяемся тишине. Вас зовут Стелла, извините, если я ошибаюсь, но так сказал мне бритый старик, приславший что-то в этом свертке. Что там – мне неизвестно. Вот он. Может быть, я вас испугал, барышня?

Молодая девушка насмешливо посмотрела на посетителя.

– Я, может, и испугалась бы, если бы вы пришли ночью, но теперь день. Садитесь и расскажите, почему я обязана вашим стремительным посещением.

– Пэд умер, – сказал сильно смущенный Аян. Душевное равновесие было им совершенно утеряно – девушка ослепила его. Он смотрел и не мог отвести взгляда от ее лица. Она была значительно моложе, чем на портрете; волосы пепельного оттенка, заплетенные в один пышный жгут, спускались ниже бедер. Платье, серое с голубым, плотно закрывало шею и руки; блестящие олены глаза под тонкими, высоко выведенными бровями казались воплощением гордости. Когда она спрашивала, спрашивало все лицо, а правая рука слегка приподымалась нетерпеливым, резким движением.

– Пэд умер, – повторил Аян. – Никто не хотел ехать, так как наступил беспорядок. Если вы ничего не знаете, я расскажу по порядку. Капитан Пэд оставил завещание и в нем просил кого-нибудь отвезти по адресу ваш портрет.

– Вы сумасшедший! – сказала Стелла, расширив глаза. – К какому капитану мог попасть мой портрет, голубчик?

Аян вспыхнул и побледнел. Сумасшедший! В лице его пробежала судорога страдания. Но он оправился прежде, чем девушка протянула руку, как бы приглашая его успокоиться. Когда он стал говорить далее, голос его сорвался несколько раз прежде, чем он произнес дюжину слов.

– Я говорю, что было; я сам знаю не больше вашего, – тихо сказал он. Вы не можете на меня сердиться. Я приехал и отыскал бритого старика, который, я не знаю – почему, смотрел на меня так, как будто я хватил его ножом в горло. Он передал мне вот это, оно завязано так же,

как было, и указал ваш дом. Я не думаю, чтобы я сломал что-нибудь у вас в больших комнатах: я держался посредине.

– Если это мне, дайте, – удивленно произнесла Стелла. – Но я решительно ничего не понимаю.

– Вот ваш портрет. – Аян протянул маленькую овальную дощечку. – Я берег его от воды и грязи, – прибавил он.

Полнежная, полугрозная улыбка прорезала его смуглые черты. Он плохо понимал себя в эти минуты; происходящее казалось ему сном. Стелла взяла портрет.

И больше не было в ее лице тревожного внимательного недоумения. Она резко повернулась; пепельный жгут вздрогнул и захлестнул ее руку, разом опустившуюся, словно по ней ударили. Когда она снова взглянула на Аяна, лицо ее было совсем белым, губы нервно дрожали.

– Это для меня новость. – Каждое слово ее отдельно ложилось в солнечную тишину комнаты. – Не смотрите на меня круглыми глазами – это не ваше дело. Надеюсь, вы поняли? Дайте сюда пакет.

Пальцы Стеллы беспомощно скользили по нему, пеньковая бечевка крепко стягивала узлы.

– Вот нож. – Аян протянул кортик с роговой ручкой.

Девушка приняла помощь без взгляда и благодарности – внимание ее было поглощено свертком. Нож казался в ее руках детской жестянкой саблей, тем не менее острое лезвие вспоро-поло холст и веревки с быстротой молнии. Аян, охваченный любопытством, стоял рядом, думая, что его руки сделали бы то же самое, только быстрее.

Внутри был большой, темный деревянный ящик, ключ торчал в скважине и щелкнул, казалось, прежде, чем девушка схватила его. В тот же момент толстая бумажная пачка подтолкнула крышку ящика, и град пожелтевших писем разлетелся под ногами Аяна.

Аян нагнулся, подхватил несколько листков и выпрямился, желая передать их девушке, но Стелла торопливо читала первое, что попалось под руку.

– Стелла, – нерешительно сказал он, – я соберу все!

Она, казалось, не слышала. Комкая, разрывая конверты, пробегала она то бисерные, женские, то неуклюжие мужские строки; почти на каждом из писем стояли разные штемпеля, как будто пишущих бросало из одного конца света в другой. Прочесть все у нее, однако, не хватило терпения; впрочем, прочитанного было вполне достаточно.

Некоторое время она стояла, опустив голову, роняя письма одно за другим в шкатулку, как будто желая освоиться с фактом, прежде чем снова поднять лицо. Неуловимые, как вечерние тени, разнообразные чувства скользили в ее глазах, устремленных на пол, усеянный остатками прошлого. Встревоженный, расстроенный не меньше ее, Аян подошел к Стелле.

– Там есть еще что-то в ящике, – совсем тихо, почти шепотом, сказал он. – Взгляните.

Не отвечая, девушка взяла шкатулку, положила ее на стол и опрокинула нетерпеливым движением, почти сейчас же раскаявшись в этом, так как, одновременно с глухим стуком дерева, скатерть вспыхнула огнем алмазного слоя, карбункулов, жемчугов и опалов. Зеленые глаза изумрудов перекатились сверху и утонули в радужном, белоснежном блеске; большинство были алмазы.

Это было последним, но уже сладким ударом, и Стелла не выдержала. Крупные, неожиданные для нее самой слезы женского восхищения брызнули из ее глаз, лицо горело румянцем. В состоянии, близком к экстазу, водила она вздрагивающими пальцами по холодным камням, как бы усиливаясь передать их равнодушному великолепию всю бесконечную нежность свою к могуществу драгоценностей и торжеству роскоши. Взволнованная до глубины души, не меньше, чем любая женщина в первый сладкий и острый момент объятий избранника, Стелла вскрикнула; звонкий, счастливый смех ее рассыпался в комнате, стих и молчаливой улыбкой тронул лицо Аяна.

Она подняла глаза: совсем близко, четверть часа назад посторонний и подозрительный, стоял дикий, загорелый, безусый юноша. Счастливое недоумение искрилось в его темных глазах, заботливо устремленных на девушку. Теперь он любил Пэда больше, чем когда бы то ни было; умерший казался ему чем-то вроде благодетельного колдуна.

Стелла не сдерживалась. Если бы она не заговорила, ей стало бы тяжело от подавленной, непреодолимой потребности разрядиться.

– Кто был мой отец? – спросила она. – Вы должны знать Пэда – это его имя; но кто он был?

– Пэд?! – Аян отступил несколько шагов назад. – Пэд – ваш отец??!

– Как будто вы не знали этого. – Стелла погрузила руки в сокровища. Бросим игру в прятки. Вы ехали сюда, в ваших руках был портрет моей матери. Перестаньте же лгать. Итак... Пэд??!

– Вашей матери? – повторил Аян. – Как мог знать я это? Вы оглушили меня, поверьте, я не лгал никогда в жизни. У меня в голове теперь что-то вроде лесного кустарника. Я не знал.

Глаза его встретились с серыми, надменными глазами, но он не опустил голову. Он сам искал объяснения, как будто за ним было уже право на это и камни Пэда связали их. Аян ждал.

– Вы... наивны, – помолчав, произнесла Стелла. – Теперь вы, надеюсь, знаете?

– Да, вы сказали.

Она снова повернулась к столу, там был магнит, поворачивавший ее голову. Попугай резко вскрикнул, его грубый возглас, казалось, оторвал девушку от спутанных размышлений. Решение, что осталось досказать, в сущности, немного и что это, во всяком случае, лучше, чем хоть какая-нибудь лазейка для сплетен, показалось ей дельным.

– Моя мать была танцовщицей, – сухо произнесла она, не поворачиваясь к Аяну, – танцовщицей в Рио-Жанейро; вы знаете, там разнообразное общество.

Аян кивнул головой.

– Пэд был с ней знаком. Если вы любопытны и это недостаточно для вас ясно – спрашивайте.

– Мне нечего спрашивать.

– Надеюсь. Вы сели бы.

Аян сел. Девушка продолжала стоять, касаясь рукой стола. Раз оказав доверие, она не считала себя вправе остановиться.

– Ее звали так же, как и меня. Она вышла замуж. Дом этот – моего отчима, он чаеторговец; зовет меня дочерью. Кто Пэд?

– Пэд был капитан, – сказал Аян, погруженный в водоворот чувств, откуда ему казалось, что все почему-то обязаны знать то же, что он. – Он умер.

– Я это уже знаю.

– «Фитиль на порохе» – не торговая шхуна, – коротко усмехнулся Аян. Мы останавливаем иногда китоловов, но с ними многое возможн; Пэд предпочитал почту.

Стелла выпрямилась.

– Это слишком щедро для одного дня, – сказала она, с любопытством рассматривая Аяна. – Вы... грабите?

– Мы берем самое подходящее, – помолчав, возразил Аян. – Деньги попадаются не так часто, но шелковые и чайные транспорты тоже выгодны.

– Молчите! – крикнула Стелла, расхаживая по комнате. – А вооруженные суда... военные?

– Сила на их стороне, – вздохнул Аян. – Мы также теряем людей, прибавил он, – не думайте, что все сдаются, как зайцы в силке.

– Так, значит, там, на столе... – Стелла подошла к ящику. – Вы не думаете, что они стали темнее после вами рассказанного?

– Пэд очень любил вас, – возразил Аян.

– Вы это знаете?

– Да.

– Он вам говорил обо мне?

– Ни разу.

– Почему же вы это знаете?

– Стелла, – сказал Аян, – он мог не любить вас?

Девушка улыбнулась. Перед ней, в огне солнца, такие же, как четверть часа назад, сверкали алмазы, и не были они ни темней, ни хуже. Их прошлое сгорело в костре собственного их блеска.

Наконец созерцание утомило девушку, она встала перед Аяном.

– Как вас зовут?

– Ай, еще – Аян.

– Кто вы?

– Матрос.

– Аян, расскажите о вашем судне и о моем... Пэде.

## VII

Сбивчивыми, спутанными словами, запинавшимися друг о друга, как люди в стремительно бегущей толпе, выложил Аян все, что, по его мнению, могло интересовать Стеллу. Она не перебивала его, иногда лишь, кивая головой, ударяла носком в пол, когда он останавливался.

Аян начал с Пэда, но скоро и незаметно для самого себя рассказал все. Что хотел он сказать? Прослушайте песню дикаря, плывущего на восходе вниз по большой реке. Он складывает весла и думает вслух низкими, гортанными нотами. Мысли его цветисты и беспорядочно нагромождены друг на друга – упомянув об отточенной стреле, он забывает ее, чтобы воздать хвалу цветущему дереву. Аян говорил о смерти под пулями, и смерть казалась невзрачной, как простая контузия; о починке бегущего такелажа, о том, что в жару палубу поливают водой. Он упомянул знайный торнадо, попутно прихватив штиль; о призраке негра, о несчастьях, приносимых кораблю кошками, об искусстве лавировать против ветра, о пользе пепла для ран, об огнях в море, кораблях-призраках. Мертвая зыбь, боковая и кильевая качка,очные сигналы, рыбы, летающие по воздуху, погрузка клади, магнитные бури, когда стрелка компаса пляшет, как взбешенная, – все было в его словах крепко и ясно, как свежая ореховая доска. Он говорил о схватках, где полуживых швыряют за борт, стреляют с ругательствами и острят, зажигая дыру в груди. Тут же, как бы стирая кровь, рассказ перешел к бризу, пассату, мистралю, ост-индским циклонам, тишине океана, расслабляющей тоске зноя. Утренние и вечерние зори, уловки шторма; рифы, разрезающие корабль, как бритва – газетный лист...

Аян остановился, когда Стелла поднялась с кресла. Жизнь моря, пролетевшая перед ней, побледнела, угасла, перешла в груду алмазов. Девушка подошла к столу, руки задвигались, подымаясь к лицу, шее и опускаясь вновь за новыми украшениями. Она повернулась, сверкая драгоценностями, с разгоревшимся преображенными лицом.

– Все здесь, – громко сказала Стелла. – Все, о чем вы рассказали, – на мне.

Аян встал. Девушка мучительно притягивала его; страдающий, восхищенный, он что-то шептал потрескавшимися от внезапного внутреннего жара губами, бледный, как холст. Борьба с собой была выше его сил – он взял руку Стеллы, быстро поцеловал ее и отпустил. Поцелуй этот напоминал укус.

Стелла не пошевелилась, даже не вздрогнула. Слишком все было странно в этот тихий солнечный день, чтобы разгневаться на грубое поклонение, от кого бы оно ни исходило. Только слегка поднялись брови над снисходительно улыбнувшимися глазами: руку поцеловал мужчина.

– Мальчик, – произнесла она, и голова ее повернулась тем же движением, как через несколько дней в гостиной, среди общества, – я нравлюсь тебе?

– Я целовал портрет, – глухо сказал Аян. – Я думал, что это ты.

Девушка рассмеялась. В тот же момент ее схватила пара железных рук, совсем близко, над ухом волна теплого дыхания обожгла кожу, а в сияющих, полудетских, о чем-то молящих, кому-то посылающих угрозы глазах горело такое отчаяние, что был момент, когда комната поплыла перед глазами Стеллы и резкий испуг всколыхнул тело; но в следующее мгновение все по-прежнему твердо стало на свое место. Она вырвалась.

Наступило молчание, долгое, как столетие. Попугай громко скрипел, поворачиваясь в кольце. Аян шумно дышал, горе его было велико, безмерно; бешеная, стыдливая улыбка дрожала в лице. Слова, услышанные им, были резки и сухи, как окрик всадника, несущегося по улице:

– Уйдите сейчас же! Прочь!

Он постоял некоторое время, не двигаясь, как бы взвешивая смысл сказанного; затем без рассуждений и колебаний, дрожа от гнева, поднес к виску дуло револьвера. Он действовал бессознательно. Оружие, вырванное маленькой, но сильной рукой, полетело к стене.

Он поднял глаза, полные слез, и они туманом застилали лицо девушки. Комната качалась из стороны в сторону.

— Аян, — мягко сказала девушка, остановилась, придумывая, что продолжать, и вдруг простая, доверчивая, сильная душа юноши бессознательно пустила ее на верный путь. — Аян, вы смешны. Другая повернулась бы к вам спиной, я — нет. Идите, глупый разбойник, учитесь, сделайтесь образованным, крупным хищником, капитаном. И когда сотни людей будут трепетать от одного вашего слова — вы придите. Больше я ничего не скажу вам.

И тотчас улыбка радости ответила ее словам — так было немного нужно, чтобы воспалимить порох.

— Я уже думал об этом, — тихо сказал Аян. — Вы не будете стыдиться меня. У нас все вверх дном. Я знаю судно не хуже гордеца Гарвея. Я научился разбирать карты и обращаться с секстаном. Я приду.

Что-то похожее на жалость мелькнуло в глазах Стеллы. Она склонилась, и легкое прикосновение ее губ обожгло лоб Аяна.

— О! — только сказал он.

— Идите же! Идите!

Пошатываясь, Аян открыл дверь. Девушка-сон задумчиво смотрела на его лицо, полное благодарности. Повинуясь неведомому, он вышел на галерею; только что пережитое лежало в его душе мучительной сладкой тяжестью. На пороге он обернулся, последние сказанные им слова дышали безграничным доверием:

— Я — приду!

## VIII

От железнодорожной приморской станции до глухого места у каменного обрыва берега, где была спрятана шлюпка, Аян шел пешком. Он не чувствовал ни усталости, ни голода. Кажется, он ел что-то вроде майской лепешки с медом, купленной у разносчика. Но этого могло и не быть.

Когда он взял весла, оттолкнув шлюпку, и плавная качка волны отнесла берег назад – тоска, подобная одиночеству раненого в пустыне, бросила на его лицо тень болезненной мысли, устремленной к городу. Временами ему казалось, что долго, в жару спал он где-то на солнцепеке и проснулся с болью в груди, потому что сон был прекрасен и нежен, и видения, полные любовной грусти, прошли мимо его ложа, а он проснулся в знойной тишине полдня, один. Все, как было, живое, с яркой остротой действительности неотступно носилось перед его глазами, блестевшими сосредоточенным светом воли, направленной в одну точку.

Море дымилось, вечерний туман берега рвался в порывах ветра, затягивая Пролив Бурь сизым флером. Волнение усиливалось; отлогие темные волны с ровным, воздушным гулом катились в пространство, белое кружево вспыхивало на их верхушках и гасло в растущей тьме.

Аян, стиснув зубы, работал веслами. Лодка ныряла, поскрипывая и дрожа, иногда как бы раздумывая, задерживаясь на гребне волны, и с плеском кидалась вниз, подбрасывая Аяна. Свет фонаря растерянно мигал во тьме. Ветер вздыхал, пел и кружился на одном месте, уныло гудел в ушах, бесконечно толкаясь в мраке отрядами воздушных существ с плотью из холода: их влажные, обрызганные морем плащи хлестали Аяна по лицу и рукам.

Встревоженный матрос перестал гребти. Берег был близко, но в этом месте представлял больше опасности, чем защиты, потому что по крайней мере на полукилометре тянулся здесь голый отвесный камень, изрезанный трещинами. Он снова схватил весла, торопясь проплыть скалы. Опасность пришпоривала его; согнувшись, упираясь ногами, Аян греб, и весла гнулись в его руках, окаменевших от продолжительного усилия. Иногда, подброшенный сильным толчком, он должен был приседать, чтобы сохранить равновесие; сесть снова после этого на скамью ему удавалось только при помощи инстинкта, управляющего движениями. Кругом бушевал воздух; немое смятение охватывало пролив; волны метались, подобно темному стаду, гонимому паникой во время пожара. Это был штурм.

Прошло несколько времени, и ветер переменил фронт. Теперь он обрушивался с берега; сильнейшая боковая качка встрихивала суденышко Аяна легче пустого мешка, возилась с ним, клала на левый и правый борт, и тогда какое-нибудь из весел бессильно ударяло по воздуху. Море пьянило; пароксизм ярости сотрясал пучину, взбешенную долгим спокойствием. Неясные голоса перекликались в воздухе: казалось, природа потеряла рассудок, слепое возмущение ее переходило в припадок рыдания, и вопли сменялись долгим, бурным ревом помешанного.

Лодку стремительно несло в сторону. Волны, катившиеся теперь от берега, отодвигали ее толчками, как нога отбрасывает встречный предмет. Аян превратился в слух, инстинкт стал зрением, борьба шла ощущением. Он подымал весла, как воин подымает оружие, и отражал удар всей силой своих мышц в тот момент, когда тьма грозила уничтожением, – ничего не видя, читая в глухом стремительном водовороте стихий внутренними глазами души. Он угадывал, предупреждал, наносил удары и отражал их; бросал ставки и брал назад, игра шла вничью. Его качало, ударяло о борт, подымало на высоту, рушило вниз, подбрасывало. Соленые, бьющиеся в лицо брызги, целые лохмотья воды, сорванные штурмом, хлестали его по голове и телу, мокрая одежда стесняла движения, шлюпка приобрела легкость испуганного, травимого человека, мечущегося во все стороны.

Ослепительная фиолетовая трещина расколола тьму, и ночь содрогнулась удар грома оглушил землю. Панический, долгий грохот рычал, ворочался, ревел, падал. Снова холодный

огонь молний зажмурил глаза Аяна; открыв их, он видел еще в беснующейся темноте залитый мгновенным светом пролив, превращенный в сплошную оргию пены и водяных пропастей. Вал поднял шлюпку, бросил, вырвал одно весло – Аян вздрогнул.

Море одолевало его. Он мог теперь совсем не сопротивляться, игра шла к концу. Он как будто окаменел, застыл, ошеломленный случившимся. Он мог только ждать, возмущаться, впасть в отчаяние, кричать, безумствовать.

Глухой гнев наполнял Аяна. Он уцепился за борт, бросив оставшееся весло на дно шлюпки. Борясь дальше он счел бы для себя унижением, смешной попыткой обуздить стадо коней. Он не хотел показывать врагу растерянности. Одна мысль, что океан может обрадоваться его испугу, его жалкой защите с помощью голых рук, привела его в состояние свирепой ненависти. Он презирал море, нападающее на одного всей силой водяной армии. Смерть не пугала его напротив, обезоруженный, он без колебания отверг бы пощаду, чтоб не подвергаться унижению жизни, брошенной в виде милостыни. Он приготовился плюнуть в лицо торжествующему победителю. Спокойный, насколько это было возможно, Аян крикнул:

– Жри! Подавись! Собака! Цепная собака!

Залитый водой, измученный, он осыпал пролив презрительными ругательствами, дерзкими оскорбленийми, издевался, придумывая самые язвительные, обидные слова.

– Подлый трус!.. Ты воешь, как гиена!.. Корыто акул, оплеванное моряками!.. Пугай детей и старух, продажная тварь. Иуда!

Снова упала молния, ее неверный свет озарил пространство. Удары грома следовали один за другим, резкий толчок подбросил шлюпку. Аян упал; поднявшись, он ждал немедленной течи и смерти. Но шлюпка по-прежнему неслась в мраке, толчок рифа только скользнул по ней, не раздробив дерева.

– Жри же! – с презрением повторил Аян.

Он встал во весь рост, еле удерживаясь на ногах. Все чаще сверкала молния; это был уже почти беспрерывный, дрожащий, режущий глаза свет раскаленных, меняющих извины трещин, неуловимых и резких. Впереди, прямо на шлюпку смотрел камень. Он несколько склонялся над водой, подобно быку, опустившему голову для яростного удара; Аян ждал.

И вдруг кто-то, может быть воздух, может быть сам он, сказал неторопливо и ясно: «Стелла». Матрос нагнулся, весло раскачивалось в его руках – теперь он хотел жить, наперекор проливу и рифам. Молнии освещали битву. Аян тщательно, напряженно измерял взглядом маленькое расстояние, сокращавшееся с каждой секундой. Казалось, не он, а риф двигается на него скачками, подымаясь и опускаясь.

Враги сцепились и разошлись. Мелькнула скользкая, изъеденная водой каменная голова; весло с треском, с силой отчаяния ударило в риф. Аян покачнулся, и в то же мгновение вскипающее пеной пространство отнесло шлюпку в сторону. Она вздрогнула, поднялась на гребне волны, перевернулась и ринулась в темноту.

– Стелла! – крикнул Аян. Судорожный смех сотрясал его. Он бросил весло и сел. Что было с ним дальше – он не помнил; сознание притупилось, слабые, болезненные усилия мысли схватили еще шорох дна, ударяющегося о мель, сухой воздух берега, затишье; кто-то – быть може, он – двигался по колена в воде, мягкий ил засасывал ступни... шум леса, мокрый песок, бессилие...

## IX

Аян протер глаза в пустынной тишине утра, мокрый, хмельной и слабый от недавнего утомления. Плечи опухли, ныли; сознание бродило в тумане, словно невидимая рука все время пыталась заслонить от его взгляда тихий прибой, голубой проход бухты, где стоял «Фитиль на порохе», и яркое, живое лицо прошлых суток.

Аян встал, разулся, походил немного взад и вперед, нежа натруженные подошвы в согретом песке берега, размялся и совершенно воскрес. Невдалеке чернела залитая водой, обнажившая киль шлюпки; волнение качало ее, как будто море в раздумье остановилось над лодкой, не зная, что делать с этим неуклюжим предметом. Пролив казался спокойными ангельскими глазами изменившей женой; он стих, замер и просветел, поглаживая серебристыми языками желтый песок, как рассудительная, степенная кошка, совершающая утренний туалет котят.

Матрос ревниво осмотрел шлюпку: дыры не было. Штуцер вместе с уцелевшим веслом валялся на дне, опутанный набухшим причалом; ствол ружья был полон песку и ила. Аян вынул патрон, промыл ствол и вывел шлюпку на глубину – он торопился; вместе с ним, ни на секунду не оставляя его, ходила по колена в воде высокая городская девушка.

Она следила за ним. Он подымал глаза и улыбался сырому, сверкающему морскому воздуху; пустота казалась ему только что опущенным, немым взглядом. Взгляд принадлежал ей; и требование, и обещанная чудесная награда были в этих оленых, полных до краев жизнью глазах, скрытых далеким берегом. Человек, рискнувший на попытку поколебать веру Аяна, был бы убит тут же на месте, как рука расплющивает комара.

Шлюпка, точно проснувшись, закачалась под его ногами; Аян греб стоя, одним веслом. Рифы остались сзади, впереди лежал океан, слева – меловые утесы, похожие на кучки белых овец, скрывали бухту. Он плыл с ясным лицом, уверенно отгребая воду, грозившую не так давно смертью, и не было в этот момент предела силе его желания кинуться в битву душ, в продолжительные сkitания, где с каждым часом и днем росло бы в его молодом сердце железо власти, а слово звучало непоколебимой песнью, с силой, удешевленной вниманием. Он подплывал к шхуне повелителем в грабеже и удали, молодой, нетерпеливый, с душой, сожженной беззвучной музыкой, воспоминанием и надеждой.

Аян кипел; солнце кипело в небе; вскипая и расходясь, плескалась вода.

– Го-го! – крикнул матрос, когда расстояние между ними и шхуной, стоявшей на прежнем месте, сократилось до одного кабельтова. Он часто дышал, потому что гребля одним веслом – штука нелегкая, и крикнул, должно быть, слабее, чем следовало, так как никто не вышел на палубу. Аян набрал воздуха, и снова веселый, нетерпеливый крик огласил бухту:

– Эгей! Пусти трап! Свои!..

Шлюпка подошла вплотную; грязный, продырявленный старыми выстрелами борт шхуны мирно дремал; дремали мачты, штанги, сонно блестели стекла иллюминатора; ленивая, поскрипывающая тишина старого корабля дышала грустным спокойствием, одиночеством путника, отдыхающего в запущенном столетнем саду, где сломанные скамейки поросли мохом и желтый мрамор Венер тонет в кустарнике. Аян кричал:

– Эй, на шхуне! Гарvey! Сигби! Родэк! Кто-нибудь, спустите же трап! Ребята!

Тень легла на его лицо, он сказал тихо, как бы обращаясь к себе:

– Они спят. Я забыл, что парни без дела.

Взобраться на палубу при помощи обыкновенной железной кошки было для него пустяком. Он поднялся, укрепил причал шлюпки, чтобы лодку не отнесло прочь, и подошел к кубрику. У трапа он приостановился, соображая, чем удовлетворить законное любопытство товарищей, вспомнил грязную контору бритого старика, о котором говорил Стелле.

— Да, — мысленно произнес он, — я имел дело со стариком, ее не было. Старик взял портрет, я вернулся.

Заранее улыбаясь возгласам и расспросам, Аян спустился в кубрик. Сначала, в сумраке помещения, он не поверил себе, прищуриваясь и оглядываясь широко раскрытыми, встревоженными глазами, но тотчас убедился, что людей нет. Кубрик потерял жилой вид. Койки, лишенные одеял, сиротливо тянулись перед Аяном; на полу сор, веревки, тряпки, огарки свеч, пустые жестянки; исчезли мешки с имуществом, одежда, висевшая по стенам, оружие. Немая заброшенность и тоска смотрели из каждой щели, настежь раскрытых ящиков, тускло освещенного люка...

Пораженный, Аян силился понять что-нибудь и не мог. Одно-два мгновения он рассеянно потирал руки; блуждающая улыбка кривила губы. Это было мгновенное, тревожное оцепенение, где нет места ни рассуждению, ни догадкам — он потерялся. Слегка испуганный, Аян вышел на палубу; по-прежнему здесь не было ни души. Он поспешил к каютам, в надежде отыскать Реджа или Гарвея, по дороге заглянул в кухню — здесь все валялось неубранное; высохшие помои пестрили пол, холодное железо плиты обожгло его руку мертвым прикосновением; разлагалось и кишело мухами мясо, тронутое жарой. Передник Сэта висел на гвоздике, как будто повар только что ушел, вернется и вкусно застучит по доске острым ножом.

Первое, что остановило Аяна, как вкопанного, и потянуло к револьверу, был труп Реджа. Мертвый лежал под бизанью и, по-видимому, начинал разлагаться, так как противный, сладкий запах шел от его лица, к которому нагнулся Аян. Шея, простреленная ружейной пулей, вспухла багровыми волдырями; левый прищуренный глаз тускло белел; пальцы, скрюченные агонией, казались вывихнутыми. Он был без шапки, полуодетый.

Аян медленно отошел, закрывая лицо. Он двигался тихо; тупая, жесткая боль росла в нем, наполняя отчаянием. Матрос прошел на корму: спуститься в каютыказалось ему риском — увидеть смерть в полном разгуле, ряды трупов, брошенных на полу. Он осмотрелся; голубая тишина бухты несколько ободрила его.

Прислушиваясь на каждом шагу, Аян оставил последнюю ступень трапа и двинулся к каюте Гарвея. Дверь не была закрыта; он тихо открыл ее, окаменел, шаря глазами, и вздрогнул от радости: с койки, как бы не узнавая его, смотрели тяжелые, стальные глаза штурмана.

— Гарвей! — шепнул юноша, подходя ближе. — Гарвей!

Штурман открыл рот и пошевелил губами. Первая попытка заговорить была неудачна. Потом, и было видно, что это стоит ему огромного напряжения, Гарвей прохрипел:

— Мальчик!.. Ай... В два слова: ушли все. Я дохну, ранен близ сердца... Собственно говоря, я был дурак... я и Редж... мы враги... но не...

Он двинул рукой, почесал подбородок об одеяло и продолжал:

— Шакалы разбежались, Аян. Я и Редж воспротивились; знаешь, в нашем ремесле поздно искать другого пристанища. И то сказать — Пэд умер... Никак не могли выбрать новую глотку... стадо!.. В тот день, что ты уехал, уже сцепились... Кристоф пошел к Пэду... его застрелил Дженнер. Я не могу рассказывать, Ай, — меня все что-то держит за горло... и стреляет в спине... Но вот... Ты поймешь все... решили делиться, подбил Сигби. Шхуна пуста, Ай... Ушли... Все ушли...

Гарвей смолк, его резкие, осунувшиеся черты выражали невероятное бешенство.

— Дай воды! — коротко сказал он.

Аян подал оловянную кружку, раненый пролил половину на одеяло; горло его подергивалось судорогой. Аян спросил:

— Когда это, Гарвей?

— Вчера вечером. Они все... собираются... Один... к «Приятелю»... Понял?

— Да.

— Расскажи... — захрипел Гарвей. — Впрочем...

Он задохнулся, закрыл глаза и не шевелился. Аян сел, положил голову на руки; плечи и шея его тяжело вздрагивали; это были беззвучные, сухие рыдания. Гарвей, по-видимому, уснул. Усилия, сделанные им, отняли всю энергию угасающего, пробитого тела.

— Стелла, — сказал Аян тише, чем дыхание раненого. — Что дальше?

Прошло, может быть, полчаса; очнувшись, с горем в душе, он пристально рассматривал штурмана. Желание быть выслушанным, передать часть тяжести хотя бы полуживому, страдающему, наполняло его беглым огнем слов; он сказал:

— Гарвей, вы знаете, мне так же больно, как вам. Я... со мной случилось, но вы ничего не знаете... Я мог быть счастлив, Гарвей!..

Он смолк, ему ответила тишина.

— Гарвей, — сказал он, вставая, — я вам могу быть полезен. Я любил и вас также, Гарвей, но у меня не разбежались бы; это так. Я владел бы ими, как владеют стаей собак. Гарвей! Я нациплю корпии и перевяжу вашу рану; кроме того, вы хотите, вероятно, поесть. Кто ранил вас?

Он протянул руку, коснувшись плеча штурмана. Гарвей молчал. Аян потолкал его, затем нагнулся и приложил ухо к груди — все кончилось.

— Прощайте, штурман! — сказал матрос. — Теперь я один живой здесь. Прощайте!..

Поднявшись на палубу, он отыскал немного провизии — сухарей, вяленой свинины и подошел к борту. Шлюпка, качаясь, стукала кормой в шхуну; Аян спустился, но вдруг, еще не коснувшись ногами дна лодки, вспомнил что-то, торопливо вылез обратно и прошел в крюйс-камеру, где лежали бочонки с порохом.

Оставляя ее, он оставил за собой тонкий дымок фитиля.

— Ты оправдаешь свое название, — сердито, но уже владея собой, сказал он. — Порхай!..

На берегу, бросив лодку, Аян выпрямился. Дремлющий, одинокий корабль стройно чернел в лазури. Прошла минута — и небо дрогнуло от удара. Большая, взмыленная волна пришла к берегу, лизнула ноги Аяна и медленно, как кровь с побледневших щек, вернулась в родную глубь.

— Пролив обманул меня, — сказал юноша, — я спасся затем ли, чтобы повелевать трупами? Но этого быть не может.

Он засмеялся. Это был тот же странный, горловой смех жизненного упорства.

— Я приду, — сказал он, посыпая улыбку северу. — Приду! У меня есть песня — моя песня.

И он тронулся к заселенным местам, напевая вполголоса:

Свет не клином сошелся на одном корабле:  
Дай, хозяин, расчет!..  
Кой-чему я учен в парусах и руле,  
Как в звездах — звездочет!

С детства клипер, и шхуна, и стройный фрегат  
На волне колыхали меня;  
Я родня океану — он старший мой брат.  
А игрушки мои — руслена!..

Он ушел.

Умирая, одинокий, он скажет те же, полные нежной веры и грусти, твердые большие слова:

— Я — приду!..

Он счастлив — не мы.